

Григорий ФУКС

г. Лос-Анджелес, США



I

Парадокс Соленого

В пьесе Чехова «Три сестры» малопривлекательный персонаж штабс-капитан Соленый признается Тунзенбаху, что ему говорят о сходстве с самим Лермонтовым. К тому же, как и Лермонтов, он тоже пишет стихи. В пьесе, правда, их не произносит, но вполне достаточно одного признания. Естественно, возникает вопрос, почему самого несимпатичного, раздражающего всех Чехов делает похожим на великого человека. Почему не на Льва Толстого, Куприна, Достоевского, которые тоже в молодости носили погоны. Но Чехов выбирает в двойники Соленому именно Михаила Юрьевича, а не кого другого. Для такого писателя как Чехов ничего не может быть случайным. Если у него ружье появляется на сцене, значит, обязательно выстрелит.

Можно не без оснований предположить, что, восхищаясь прозой Лермонтова, его талантом и мастерством, когда совсем еще молодой человек, почти юноша, даже мальчик, по выражению Чехова, сумел написать «Героя нашего времени» и особенно впечатлившую его «Тамань», что это вызвало инте-

рес Антона Павловича к подробностям жизни самого автора, его характеру и его особенностям. Он не мог не обратить внимание, читая воспоминания современников поэта, его недругов и друзей, на заметную разницу в их оценке. Для одних он был вызывающе дерзок, для других, близких друзей и родных, – скромным и добрейшей души человеком. Очевидно, именно эта двойственность характера Лермонтова, такая яркая и заметная, и послужила моделью для создания образа штабс-капитана.

Чехова, чуткого исследователя судеб и характеров, не могла не заинтересовать двойственность Лермонтова. Это с большой степенью вероятности и послужило поводом для создания образа такого разноликого персонажа, как Соленый. Тем более он хорошо вписался в сюжетную линию пьесы. Чехов как бы сделал его не только дерзким и малопривлекательным, чего вполне бы хватило для роли. Он показал его, правда мельком, мягким, откровенным, даже застенчивым, да к тому же возвышенно влюбленным в младшую из сестер – Ирину. Лишь трижды в пьесе Чехов приоткрывает глубоко упрятанные привлекательные черты штабс-капитана. При сюжетной конструкции пьесы и месте в ней военной это более чем достаточно. Во-первых, очень важный

II

Фаталист

разговор Соленого с Тузенбахом: на предложение барона объясниться и наладить отношения штабс-капитан предстает перед Тузенбахом с совершенно неизвестной ему стороны. Не опасаясь показаться слабым, беззащитным, чистосердечно признается, что на людях он застенчив, растерян, робок, в себе не уверен, и, чтобы таким не выглядеть, дерзит и несет всякий вздор. А вот когда один на один, тогда он против барона ничего не имеет, но у него характер Лермонтова. Понизив голос, сообщает, что немного похож на него, как говорят люди.

Вторично о двойственности характера Соленого говорит Ирина, повторяя рассказ Тузенбаха и добавляя личное впечатление, что Соленый бывает не только нежен, застенчив, но и благороден лучше многих, да к тому же умен, а в обществе – груб и вздорен. Наконец, Чехов показывает Соленого романтически влюбленным на коленях перед Ириной и со слезами на глазах говорящего, казалось бы, не совместимые с его обычным поведением слова: «Я не могу жить без вас. О, мое блаженство. О, мое счастье! Роскошные, чудные, изумительные глаза, каких я не видал».

Это уже не Соленый, а доктор Астров, потерявший голову от чувств к Елене Серебряковой из другой чеховской пьесы. Надо добавить, что Соленый – дуэлянт – тоже из биографии Лермонтова. Он уже, как и тот, дважды стрелялся, но, в отличие от Лермонтова, оба раза удачно. Впереди у Соленого – третья дуэль, тоже с благоприятным для него исходом. Причем стрелялся он с Тузенбахом, которому откровенно доверился, как когда-то Лермонтов сразившему его Мартынову. Сколько совпадений в реальной судьбе поэта и чеховским персонажем. Характер Лермонтова показался Чехову труднообъяснимым и поэтому глубоко трагичным. С одной стороны, великий талант, по выражению Белинского, «С Ивана Великого», с другой – бретер и фаталист. Откуда такое раздвоение личности, где искать его причины. Чехов, поместив Соленого в уютный теплый дом сестер Прозоровых, лишь обозначил светлую сторону его личности, ни единым словом не объяснив причины такого раздвоения. В пьесе нет ни малейшего намека на особенности прошлой жизни штабс-капитана. У Лермонтова, наоборот, как на ладони. Творчество изучено по строчкам, биография тоже без белых пятен.

Но почему, зная о своем уже признанном таланте, популярности у читателей, он так бездумно, без оглядки, рискует жизнью, казалось бы, безо всяких на то оснований?

Вспомним условия дуэли Печорина с Грушницким. Их предложил Печорин. Мало того что стрелялись на расстоянии шести шагов, да еще поочередно, когда промах был практически исключен. Да и место поединка было выбрано в горах, на краю пропасти, где любое, даже легкое, ранение приводило к падению вниз. По жребию Грушницкий стрелял первым, но пуля лишь оцарапала Печорину колени, и он избежал падения. Его выстрел оказался точен, Грушницкий сорвался со скалы. Сам Лермонтов, в отличие от Печорина, не стрелял в противника, или направлял пулю мимо, либо не поднимал пистолет вообще. Его последняя дуэль с Мартыновым состоялась не в горах, как у Печорина с Грушницким, а на прозаически ровном месте вблизи от Пятигорска, рядом с проезжей дорогой, закрытой от нее деревьями. Условия поединка были не такими жесткими, как у героев знаменитого романа. По сигналу сходились к барьеру и стреляли по своему усмотрению, точно так же, как Пушкин с Дантесом. С тех пор на месте дуэли мало что изменилось. Рядом никаких построек или огородов. Такое же открытое место, только придорожные деревья заменил редкий кустарник. Вот здесь, предполагают, стоял Лермонтов, здесь – Мартынов. Утро 15 июля 1841 года было душным. Парило. Шел мелкий дождь. Опасались, что дуэли помешает гроза. Очередное предложение секундантов окончить дело миром Мартынов категорически отвергал. О чем думал Лермонтов, идя к барьеру, никому не известно. Может быть, как его Печорин, бросаясь под пулю, искал удачи: «что до меня касается, то я всегда смело иду вперед, когда не знаю, что меня ожидает. Ведь хуже смерти ничего не случится, а смерти не миновать».

Во время дуэли с Барантом француз выстрелил первым и промахнулся, а Лермонтов послал пулю в сторону. Сейчас он собирался поступить так же, но Мартынов оказался точнее француза. Его пуля поразила сердце Лермонтова навывлет. Когда подбежали секунданты, он уже не дышал. Гроза запоздала буквально на минуту. Пока она длилась, он оставался на земле под ливнем. Сбылось предчувствие Белинского. Встретившись с поэтом после его дуэли с Барантом, когда тот находился под арестом, Белинский был в восторге от их беседы. В письме к Боткину он предсказывал Лермонтову великое будущее, в то же время опасался за его судьбу: «Какая русская, разудалая голова, но так и рвется на рожон». Дуэль с Барантом произошла из-за пустяка, в результате обмена на балу колкостями. На опасную

задиристость Лермонтова обращал внимание его сослуживец по Кавказу Руфин Долохов, участник четырнадцати дуэлей, знаток этих поединков чести. Ценя Лермонтова за воинскую храбрость, говорил его друзьям: «Славный малый, чистая, прямая душа, но не сносить ему головы». Незадолго до роковой дуэли комендант Пятигорска Ильяшенков, наслышанный о злом языке Лермонтова, при личной встрече увещевал того быть поосторожней. Признаваясь в симпатии к поэту, чуть ли не называя его сыном, повторял: «Бросьте все это, эти дурачества. Ведь они убьют вас. Посмотрите, сколько врагов вы себе нажили. А ведь это все друзья ваши бывшие». Ильяшенков не мог не знать о шумевшей истории, когда три боевых офицера вызвали Лермонтова одновременно за его колкости в их адрес во время совместной поездки по Кавказу. Почти все участники поединка Лермонтова с Мартыновым были жертвами едких эпиграмм поэта. Секундант Мартынова юный Глебов был удостоен иронического куплета из-за его симпатии к юной Наде, младшей дочери генеральши Верзилиной.

*Милый Глебов,
Сродник Фебов,
Улыбнись,
Но на Наде,
Христа ради,
Не женись!*

Эпиграмма, на первый взгляд, безобидная, но по сути достаточно ироничная насмешка над напрасными стараниями юного незнатного Глебова войти в генеральский дом.

Другой секундант Мартынова, кстати, приятель Лермонтова, князь Васильчиков, получил куда более злую эпиграмму:

*Наш князь Василь –
Чиков – по батюшке,
Шеф простофиль,
Глупцов – по дядюшке,
Идя в кадрили,
Шутов – по зятюшке,
В речь вводит стиль
Донцов – по матушке.*

Оценить эту эпиграмму можно, только зная ее первопричину. Играя в карты, князь употреблял бранные слова, за что и удостоился ехидного куплета. Но, разумеется, больше всего досталось старому приятелю еще по юнкерской школе Мартыше – Мартынову. Тот пробовал заниматься сочинительством и при этом, как говорится, надувал щеки. Лер-

монтов чувствовал пошлость не хуже Гоголя, только выражал свое к ней отношение по-другому. Мартынов, приехав на Кавказ жарким летом, оделся в подбитый ватой башмет с газырями, да еще прицепил длинный, почти до колен, кинжал в богатых ножнах. Мартыш объявил потом, что держал фасон. Лермонтов не мог, естественно, оставить без внимания такую картину и, кроме язвительных подначек, сочинил эпиграмму в адрес потеющего приятеля:

*Скинь бешмет свой, друг Мартыш,
Распояшься, сбрось кинжалы,
Вздень броню, возьми бердыш
И блюди нас, как хожалый!*

Хожалым на Руси называли охранника.

Вторая эпиграмма была куда обиднее. Отчество русского Мартынова – Соломонович, стало ключом к лермонтовской насмешке:

*Он прав! Наш друг Мартыш не Соломон,
Но Соломонов сын,
Не мудр, как царь Шалима, но умен,
Умней, чем жидовин.
Тот храм воздвиг и стал известен всем
Гаремом и судом,
А этот храм, и суд, и свой гарем
Несет в себе самом.*

Разговор с комендантом Пятигорска Ильяшенковым, когда тот предостерегал Лермонтова, говоря о его врагах, бывших когда-то друзьями, стал поводом для дерзкой эпиграммы, которая оказалась последней среди его зачастую злых экспромтов:

*Мои друзья вчерашние – враги,
Враги – мои друзья,
Но да простит мне грех господь благий,
Их презираю я...*

*Вы также знаете вражду друзей
И дружество врага,
Но чем ползущих давите червей?..
Подошвой сапога.*

13 июля в доме генеральши Верзилиной произошла очередная ссора Лермонтова с Мартыновым в присутствии гостей. Мартынов вспылал и потребовал сатисфакции. Лермонтов отнесся к этому спокойно, сказав, что всегда готов. Через день они вышли к барьеру.

Очевидцы отмечали одну из особенностей лермонтовского злословия. Начав кого-либо подкалывать и заметив, что попадает в цель, не только не ос-

танавливался, обратив свои насмешки в шутку, а наоборот, усиливал свой сарказм, распаясь все больше и больше, вызывая смех у окружающих. Даже на Кавказе, где все офицеры рисковали жизнью, не оставлял своего злословия, а делал это с еще большим удовольствием. Особенно предпочитал подтрунивать в компании, добиваясь большего впечатления. Его сослуживцы по армии отзывались о нем только отрицательно, не жалея черных красок; что дурной был человек, нисколько не говорил хорошего, распускал сплетни про знакомых женщин, говоря о них дерзости с явным удовольствием. Всегда смеялся над рыцарским к ним отношением, презирая тех, кто имеет чувства. Случалось, споры доходили до драки. Его сослуживец, некий Тиран, вспоминал, как однажды на дежурстве в споре тот нанес ему саблей шрам. Ради меткого словца не останавливался ни перед чем. С Мартыновым был давно знаком еще со школы юнкеров. Случалось, как и Соленый, Лермонтов позволял себе быть откровенным, сдержанным, что позволило Мартынову разглядеть в нем «добрые движения сердца, которые у него имелись в большом количестве. Но всякий порыв нежных чувств, которыми обладал, старался тщательно в себе заглушить и скрывал от других, как иные стараются в себе заглушить и скрывать от других свои гнусные пороки». Мартынов это высказал уже после дуэли, отдавая должное добродушию в характере Лермонтова. Предполагают, что Лермонтов посвятил куплет Мартыновой, сестре дуэлянта:

*Когда поспорить вам придется,
Не спорьте никогда о том,
Что невозможно быть с умом
Тому, кто в этом признается...*

Но и это не помешало Лермонтову превратить «Мартыша» в объект едких публичных насмешек.

Свою напускную демоническую мрачность Лермонтов переносил на других с удовольствием. Тот же Дорохов утверждал, что Мишель принадлежал к людям, которые не только не нравятся с первого взгляда, но даже при первой встрече вызывают против себя довольно сильное предубеждение. Он многим казался холодным, желчным, раздражительным и ненавистником рода человеческого. В то сравнительно недавнее время подобная вызывающая манера поведения была чревата опасными для жизни последствиями. Именно поэтому Белинский и другие доброжелатели поэта опасались за его судьбу. Тогда понятие о чести у русского офицера было настолько чувствительным, что недобрый взгляд, случайное касание, несогласие с чьим-то мнением и другие подобные мелочи могли стать

поводом для вызова на дуэль. Дорохов вспоминал, как на вечеринке в Пятигорске едва не вызвал Лермонтова к барьеру, и только из-за того, что тот, как ему показалось, мало выпивал. Это воспринималось как неуважение к застольной компании. Кодекс чести был настолько высок, что Мартынова не остановила широкая известность Лермонтова как большого поэта. Он не мог о ней не знать.

Пушкин погиб, защищая честь семьи, а Лермонтов из-за пустяка, став жертвой собственного характера.

III

Маёшка

Современники, хорошо знавшие Михаила Юрьевича, пытались определить причины желчности и злословия поэта. В первую очередь называли его внешность. При его совсем небольшом росте какой мужчина будет себя чувствовать Аполлоном. В юнкерской школе Лермонтова прозвали Маёшкой, что значит безобразный. Кроме маленького роста, он был сложен непропорционально. При большой при таком росте голове имел коротковатые кривые ноги, выдающиеся скулы, маленькое лицо с узким подбородком, усыпанное угрями, вздернутый нос, фыркающий ноздрями... Он напоминал фигурой карлика, но случалось, его сравнивали с крабом. К этому можно добавить его армейскую наружность, без тени пушкинского благородства в лице.

По портретам о его наружности, по мнению современников, судить трудно, так как они, как водится, всегда критиковали подлинник. Да и писали его не такие мастера, как Пушкина: Кипренский, Тропинин, Соколов, Заболотский. Клондер и Горбунов, создававшие портреты Лермонтова, сумели передать характерные черты и очевидное сходство. Но избегали писать в рост и не могли передать выражение удивительно выразительных глаз. Конечно, Лермонтов не только злословил, насмешничал, буйствовал, но и бывал любезен, интересен, грустен, заботлив и добр. Это касалось тех, кому он верил, хорошо знал и любил. Но таких были единицы, а враждовал он с целым миром, как и его демон, вызывая к себе неприязнь и желание отомстить. В конце концов и оказался жертвой того света, к которому принадлежал, но почему-то демонстративно презирал, не имея к тому существенных оснований. Вере Ивановне Анненковой, которой Мишель посвятил мадригал: «Не чудно, что зовут вас Вера», принадлежит выражение, что его душа плохо чувствовала себя в небольшой фигуре карлика.

Поклонник и знаток творчества Лермонтова Ираклий Андроников тоже отмечал неказистость внешности поэта, но находил и много в ней достоинств, ссылаясь на мнения современников. Одних поражали большие черные глаза поэта, другим глаза напоминали узкие щели, полные злости и ума, третьих – милое выражение лица, красивые руки, четвертые не могли отвести глаз от непостижимой силы огненного взгляда, иногда наполненного душевной теплотой. Одни плакали у тела убитого поэта, другие радовались его кончине, говоря: «собачья жизнь». Эта фраза приписывается Николаю I. Царский двор Лермонтова не любил, не признавая достоинств его творчества.

Был ли Лермонтов демоническим по природе, обиженным на весь мир за свое внешнее несовершенство. Может быть, отчасти это и так. Но только отчасти – не больше. У него была масса достоинств, перекрывающих этот недостаток. Он был горячо любимым внуком, окруженным вниманием и щедрой заботой. Для его воспитания приглашались лучшие педагоги. Он имел все, что душа пожелает, в том числе выезды на Кавказ, покоровивший его навсегда. Его учили языкам, которыми он владел основательно, знал немецкий, английский, естественно, французский, читал по-латыни. Играл на скрипке и фортепиано, прекрасно рисовал карандашом и писал картины. Еще ребенком полюбил поэзию, переписывал в альбом целые поэмы, с удовольствием занимался шахматами, считаясь сильным игроком. При всем при этом некоторые исследователи творчества поэта считают его жизнь суровой с малых лет, которая расстроила, по его собственному выражению, «музыку сердца». Однако это выражение не относится к жизни в Тарханах, да и ко времени обучения в Московском университете тоже.

Существует предположение, что одной из причин агрессивности Лермонтова было отсутствие успеха у женщин из-за его непривлекательной внешности. Но, как известно, для мужчин, в отличие от женщин, это не главный недостаток. Тем более многие факты из биографии поэта говорят об обратном. Сам он тоже никогда не сетовал на безразличие к нему дам. Его горячность и романтическое отношение к жизни делали его для женщин интересным, достойным внимания и искренним в дружбе. Именно с женщинами был как ни с кем откровенен, доверчив и нежен.

Началось такое отношение еще в Тарханах, когда юный Мишель увлекся проживавшей в доме бабушки Софьей Бахметьевой, несмотря на разницу в возрасте в четырнадцать лет. За ее веселый, легкий характер он сравнивал ее с пухом, называл Ваше Атмосфераторство. Там же, в Тарханах, позна-

комился с родственницей бабушки Сашенькой Верещагиной, четырьмя годами старше его, но дружившей с Мишенькой долгие годы. Наконец, многолетнее знакомство уже в Москве, куда Лермонтов приехал для учебы в университете, с Марией Лопухиной, сестрой Вареньки, в которую он глубоко влюбился. В Москве он и Лопухины жили по соседству на Большой Молчановке, и их дом стал для Лермонтова родным. Именно с Марией Александровной скрытый Мишель поделился своими успехами у женщин, уже став известным поэтом.

IV

Прерванная музыка

Ни внешность, ни безразличие женщин, которого не было, не испортили характер Лермонтова. Счастливое детство, безоблачная московская юность не нарушили «музыку сердца» начинающего поэта. Душевная эйфория была нарушена внезапно не выясненными до конца обстоятельствами. Ничто, казалось, не предвещало плохого.

Именно годы учебы в Москве остались в его памяти лучшим воспоминанием юности. Так он писал об этом, переехав в Петербург: «Москва моя родина и такую будет для меня всегда: там я родился, там много страдал и там же был очень счастлив!»

Окончив пансионат при университете, он стал его студентом. Надеясь здесь, в условиях благоприятных, либеральных, укрепить свой поэтический талант, общаясь с близкими ему по духу товарищами.

Он успешно окончил первый курс, но осенью 1832 года у него, по слухам, произошел конфликт с кем-то из профессоров и ему посоветовали уйти из университета. Это событие было для бабушки как гром среди ясного неба, и она серьезно разболелась. Да и для Лермонтова это было ударом. По совету друзей он тут же отправился в Петербург, чтобы поступить там в университет с учетом учебы в Московском. Но ему предложили начать все сначала. Терять два года Лермонтов не захотел, выход оставался один: поступать в гвардейскую школу безо всякого на то желанья, то есть связать свою жизнь с армией. Существовало мнение, что сделал он это охотно и сознательно, подражая моде служить в гвардии. Но факты говорят о другом. Марии Лопухиной, которой доверял безмерно, чистосердечно признается: «Теперь я более чем когда-либо буду нуждаться в ваших письмах, они доставят мне величайшую радость в моем будущем заточении, они одни смогут связать мое прошлое и мое будущее, которые расходятся в

разные стороны, оставляя между собою барьер из двух тяжелых, печальных лет».

Такое признание говорит о крушении его жизненных планов, связанных с поэтическим творчеством. Лопухина отчетливо понимала степень беды, случившейся с Лермонтовым. Она не скрывала своего огорчения, которое ей доставляла неприятная новость. «После стольких усилий и трудов оказаться совершенно лишенным надежды воспользоваться их плодами и быть вынужденным начать совершенно новый образ жизни. Это поистине неприятно!»

Особенно четко Лермонтов объяснял свое отношение к воинской карьере близкой ему Александры Верещагиной: «Если бы могли представить себе все горе, которое мне причиняет поступление в школу подпрапорщиков, вы бы пожалели меня. Не браните же, а утешьте меня, если у вас есть сердце». Такая просьба Лермонтова связана с письмом ему Верещагиной, где она взволнована слухами о его беде: «Успокойте меня, – пишет она ему, – к несчастью, я вас слишком хорошо знаю, чтобы быть спокойной, я знаю, что вы готовы рзаться с первым встречным из-за первой глупости – фи! Это стыд; с таким отвратительным характером вы никогда не будете счастливым». Не будем утверждать, что именно армия испортила Лермонтову характер до взрывоопасного. Но то, что она его усугубила – бесспорно. Смена гражданской одежды на форму военного удивила многих. Брат Марии и Вареньки Лопухиных Алексей высказывал Лермонтову без церемонии, как его бранят за переход на военную службу. Даже ради любви к бабушке этого не стоило делать. Любопытно отметить, что наибольшее раздражение в жизни у Лермонтова вызывали именно военные. Да и погиб он от руки сослуживца. «Музыка сердца», по его признанию, разрушилась в стенах казармы. Он попал в мир казенщины, муштры, ему чуждой и бесконечно далекой от его поэтических мечтаний. Тут о нем можно сказать его же словами, адресованными Пушкину: «Зачем от мирных лет и дружбы простодушной вступил он в этот мир завистливый и душный для сердца вольного и пламенных страстей...»

С известной долей иронии он обрисовал эту «сладкую жизнь» в первый же год поступления на военку, представив свои впечатления в виде «юнкерской молитвы».

*Царю небесный!
Спаси меня
От куртки тесной,
Как от огня.
От маршировки*

*Меня избавь,
В парадировки
Меня не ставь.
Пускай в манеже
Алехин глас
Как можно реже
Тревожит нас.
Еще моленье
Прошу принять –
В то воскресенье
Дай разрешенье
Мне опоздать.
Я, царь всевышний,
Хорош уж тем,
Что просьбой лишней
Не надоем.*

Написано это девятнадцатилетним юношей, не знавшим до этого никаких ограничений и запретов ни в чем. После гражданской вольности юный Лермонтов с трудом осмысливает стеснительные перемены. Далекий от какой-либо военщины, в отличие от Пушкина, который в лицейские годы дружил с гусарами и был от них в романтическом восторге, Лермонтов не пытался понять их характеры и души. Выражает это поэтически:

*Гусар! ужель душа не слышит
В тебе желания любви?
Скажи мне, где твой ангел дышит?
Где очи милые твои?*

*Молчишь – и ум твой безнадежней,
Когда полнее твой бокал...
Увы – зачем от жизни прежней
Ты разом сердце оторвал!*

*Ты не всегда был тем, что ныне,
Ты жил, ты слишком много жил...*

Это скорее обращение к самому себе, попытка определить собственное место, чтобы сохранить «пламень сердца». А ему было что сохранять. С первых дней службы думал, как быстрее выйти в отставку, особенно настойчиво после ссылки на Кавказ. Чеченских пуль он не страшился, сражаясь в первых рядах. Дважды представлялся местным командованием к боевым наградам, дающим право на отставку, но Петербург ходатайства не утвердил. С Марией Лопухиной делился своими проблемами. Он рвется в отставку, но родственники, т.е. бабушка, желают ему дослужиться до генерала и не желают видеть в штатском. У бабушки, видно, имелись

свои виды на карьеру внука или она была не в курсе его, после смерти Пушкина, быстро растущей литературной славы.

Не только желанной отставки, но и отпуска самого краткосрочного не дают даже на четырнадцать дней. Наконец, получив отпуск в Петербург, он снова рвется на Кавказ, чтобы быстрее получить отставку. В письме Софье Карамзиной шутливо желает легкого ранения, чтобы иметь повод получить наконец отставку и писать, писать стихи. Планов полная голова. 23 июня в письме дорогой бабушке, не надеясь, очевидно, на скорую отставку, просит выслать ему полное собрание сочинений Жуковского последнего издания, а также полного Шекспира по-английски. «Только, пожалуйста, поскорее». Неизвестно, успели ли получить книги. 15 июля его не стало. Бабушка, Елизавета Алексеевна, пережила внука на четыре года, но успела выхлопотать разрешение на его перезахоронение из Пятигорска в Тарханы.

V

Выхожу один я на дорогу

Лермонтов был нетерпим к светскому обществу в творчестве, подчеркивал свое пренебрежение и неуважение к нему. «И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды...» Пребывать там ему скучно, неинтересно, глупо: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – такая пустая и глупая шутка...» Для него все эти люди: «надменные потомки известной подлостью прославленных отцов...» «Их прах, со строгостью судьи и гражданина, потомки оскорбят презрительным стихом...», «... При диком шепоте затверженных речей мелькают образы бездушные людей, приличьем стянутые маски...», «О, как мне хочется смутить веселость их и бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и злостью». В действительности Лермонтов постоянно вращался в этом обществе, имел там не только недругов, но и друзей, чьим мнением дорожил. Вне этого общества он существовать не мог, как и Пушкин, Грибоедов, Жуковский... Это общество было далеко не однородно и являлось единственной культурной прослойкой, представители которой создавали шедевры отечественной культуры, не уступающие европейским. Разночинцы появились позднее. Любопытно другое: Лермонтов свои бичующие это общество стихи, такие как «Дума», «1-е января», «Прощай, немытая Россия», создавал, уже став знаменитым, популярным в придворных кругах, даже моден, как он сам говорил, «шел нарасхват»,

став желанным гостем аристократических салонов. Про скандальную «Смерть поэта» как будто забыли. Не случись ссоры с сыном французского посланника Морисом де Барантом и последующей за этим трагической ссылки на Кавказ, может быть, его судьба сложилась бы по-другому. Хотя этому нет никаких гарантий. Во-первых, ни на грамм не изменился характер. Он остался таким же вызывающим. Во-вторых, появились новые тревожные симптомы, которые раньше не замечались. Несмотря на растущую популярность и заметное возмужание таланта, в его творчестве все чаще возникают мотивы грусти и глубокой печали.

За четыре года с момента появления «Смерти поэта» было создано девятнадцать ностальгических произведений, отражающих оттенки настроения и душевного состояния Лермонтова. Каждое из них удивительно музыкально, и трогательно, и печально. Последнее написано незадолго до дуэли и воспринимается как предчувствие или завещание. Каждое из пяти четверостиший этой исповеди звучит как реквием, созданный при жизни автором. В его первой, всем известной строке, отражалось главное в судьбе поэта:

*Выхожу один я на дорогу;
Сквозь туман кремнистый путь блестит;
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,
И звезда с звездой говорит...*

*Уж не жду от жизни ничего я,
И не жаль мне прошлого ничуть;
Я ищу свободы и покоя!
Я б хотел забыться и заснуть!*

Первое ностальгическое стихотворение появилось осенью 1832 года. Этому есть объяснение. Лермонтову пришлось, чего он не хотел, стать курсантом юнкерской школы. Петербург оказался холодным, совершенно не похожим на любимую Москву, каменным мешком. Свое настроение Лермонтов передал стихами:

*Увы! как скучен этот город,
С своим туманом и водой!..
Куда ни взглянешь, красный ворот
Как шиш торчит перед тобой;
Нет милых сплетен – все сурово,
Закон сидит на лбу людей...
...Доволен каждый сам собою,
Не беспокоясь о других,
И что у нас зовут душою,
То без названия у них!..*

Там он оказался на берегу залива и тут же, присев на камень, сочинил строки, которые потом перенес на бумагу:

*Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом!..
Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..
...Увы! Он счастья не ищет
И не от счастья бежит!
Под ним струя светлей лазури,
Над ним луч солнца золотой!..*

Каждая строчка этого светлого, как лазурь, стихотворения символична и может служить ключиком к пониманию ностальгии лермонтовского характера. Именно характера, а не поведения. Впервые в его творчестве возникает поэтический образ одиночества, связанный с парусом, под которым «он, мятежный, просит бури», без чего не мыслит творчества.

Очень рано, погружившись в мир своих фантазий, понимает, что только он их единственный властитель. Пишет об этом: «Один среди людского шума возрос под сенью чуждой я». Та же мысль под другим углом: «Любил с начала жизни я угрюмое уединенье». В стихотворении, так и названном «Одиночество», есть строки:

*Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить!..*

*...Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены.*

Та же тема в стихотворении «Смерть»: «Хоть вдвое против прошлых дней, но только дальше, дальше от людей...». В «Стансах» повторяется та же мысль: «Свободней многих жизнь моя». Она прослеживается неоднократно: «... и все мечты отвергнув, снова остался я один – как замка мрачного, пустого неугомонный властелин». Поэтически признает свое одиночество:

*Он равных не находит; за толпою
Идет, хоть с ней не делится душою;
Он меж людьми ни раб, ни властелин,
И всё, что чувствует, он чувствует один!*

В стихотворении без названия повторяет:

*...всегда один,
Высокой башни мрачный властелин,
Он возвещает миру все, но сам
Сам чужд всему, земле и небесам.*

Конечно, речь идет о творческом одиночестве, но Лермонтов весь без остатка погружается в творчество, и это сказывается на повседневном. Он это осознает и готов к такой судьбе:

*Пора, пора насмешкам света
Прогнать спокойствия туман;
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан?
Он хочет жить ценою муки,
Ценой томительных забот.
Он покупает неба звуки,
Он даром славы не берет.*

Эти строки написаны в 1832 году, в том же, когда появился «Парус», с тем же желанием бури, необходимой для творческих порывов. Он осознавал свое предназначение и проблемы, связанные с этим. В стихотворении «Романс» есть такие признания: «...Когда я свои презираю мученья, что мне до страданий других». Там же: «... Но судьбу я и мир презираю, ... им унижить нельзя». Все в этих строчках – внимание неуважительности и резкости в отношении далеких для него людей, которых зовут толпой. Об этом пишет прямо:

*Я холоден и горд; и даже злым
Толпе кажуся; но ужель она
Проникнуть дерзко в сердце мне должна?
Зачем ей знать, что в нем заключено?
Огонь иль сумрак там – ей все равно.*

В 1837 году, когда появились стихи «Смерть поэта» и Лермонтов стал известен и интересен публике, желавшей узнать о нем как можно больше, он был недоволен и даже встревожен таким непривычным для него вниманием. При его, по сути, застенчивом и сдержанном характере эта шумиха была неприятна и не нужна. Он ответил на это стихами:

*Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть;
Как я любил, за что страдал,
Тому судья лишь бог да совесть!..*

*...Укор невежд, укор людей
Души высокой не печалит;
Пускай шумит волна морей,
Утес гранитный не повалит;*

*Его чело меж облаков,
Он двух стихий жилец угрюмый,
И, кроме бури да громов,
Он никому не верит думы!..*

Но гордость и высокомерие отталкивают поэта от близости с толпой. Он просто не будет понят и даже смешон. Это его беспокоит, и он размышляет в стихах:

*Не унижай себя. Стыдися торговать
То гневом, то тоской послушной
И гной душевных ран надменно выставлять
На диво черни простодушной...*

*...Поверь: для них смешон твой плач и твой укор,
С своим напевом заученным,
Как разрумяненный трагический актер,
Махающий мечом картонным...*

Но закрытость и активная защита «порывов мятежной души» не избавляют Лермонтова от одиночества и горьких предчувствий. Печальные строки рождаются одна за другой, образуя ностальгический венок. Каждое второе стихотворение, созданное после смерти Пушкина, несет в себе оттенок печали, не мрачной, а светлой, поэтической. Вслед за «Парусом» после пятилетнего интервала появляется первенец ностальгической волны: «Ветка Палестины», будто созданная кистью художника:

*Заботой тайною хранима
Перед иконой золотой
Стоишь ты, ветвь Ерусалима,
Святыни верный часовой!
Прозрачный сумрак, луч лампы,
Кивот и крест, символ святой...
Все полно мира и отрады
Вокруг тебя и над тобой.*

Вскоре рождается «Молитва странника», созданная буквально из воздуха, на одном дыхании:

*Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в мире безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного.*

*Окружи счастьем душу достойную;
Дай ей спутников, полных внимания,
Молодость светлую, старость покойную,
Сердцу незлобному мир упования.*

Невозможно пересказать содержание таких строк или пытаться объяснить их назначения. Они за пределами словесного толкования, могут лишиться своей невесомости, легкости дыхания. Таких трогательных, юношеских признаний –

россыпи. Поэтическая душа Лермонтова не вышла из отроческого состояния. Она искренна, как у ребенка. Не боясь выглядеть беззащитным и наивным, чистосердечно признается:

*Гляжу на будущность с боязнью,
Гляжу на прошлое с тоской
И, как преступник перед казнью,
Ищу кругом души родной.*

Грусть одиночества ему удается передавать образно, без лишних слов, как это сделано в строках «Утеса». Всего два четверостишия, но каких:

*Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана;
Утром в путь она умчалась рано,
По лазури весело играя;
Но остался влажный след в морщине
Старого утеса. Одиноко
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.*

А разве веселы и счастливы «Тучки – небесные, вечные странницы... Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники с милого севера в сторону южную...»

Подобное слышится и в других стихах, близких его настроению. Тут и «Узник» с грустным признанием безысходности одиночества: «Одиноко я – нет отрады; стены голые кругом...» «Сосед» с тем же чувством тюремной пустоты:

*Тогда, чело склонив к сырой стене,
Я слушаю – и в мрачной тишине
Твои напевы раздаются.
О чем они – не знаю; но тоской
Исполнены, и звуки чередой,
Как слезы, тихо льются, льются...*

Беспокойны и грустны строки разговора с Казбеком:

*...Что если я со дня изгнанья
Совсем на родине забыт!*

*Найду ль там прежние объятья?
Старинный встречу ли привет?
Узнают ли друзья и братья
Страдальца, после многих лет?*

Оттенки одиночества выражены по-разному, но всегда ненавязчиво и музыкально. В «Молитве» одна мелодия:

*В минуту жизни трудную теснится ль
в сердце грусть:
Одну молитву чудную твержу я наизусть.*

В нескольких строчках «Из Гете» иная, более мягкая и печальная: «... Не пылит дорога, не дрожат листы... подожди немного, отдохнешь и ты». В этом ряду и другие безрадостные признания, но с каким поэтическим откровением:

*И скучно, и грустно, и некому руку подать
В минуту душевной невзгоды...
... Что страсти? –
ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;
И жизнь, как посмотришь
с холодным вниманьем вокруг, –
Такая пустая и глупая шутка...*

Конечно, этюдная зарисовка: «На севере диком стоит одиноко на горной вершине сосна...» уступает предыдущей исповеди, но впечатление оставляет трогательное и бесконечно печальное.

В то время, когда рождались такие безысходные, грустные признания, Лермонтов в жизни оставался энергичным молодым человеком, переполненным творческими планами и надежд на скорую отставку. Но при этом вел себя вызывающе, рискуя быть вызванным к барьеру. Относился к этому хладнокровно, рассуждая как его Печорин: «Чему быть, того не миновать».

Причину такого безрассудства определить трудно. Сам Лермонтов в одном из стихотворений признавал: «Но пылкий и суровый нрав меня грызет от колыбели». Наличие такого нрава подтверждает Софья Александровна Бахметьева, которая воспитывалась в Тарханах в имении бабушки Мишеля Елизаветы Алексеевны. Софья была не раз свидетельницей гнева и капризов избалованного внука. О влиянии наследственности говорить трудно. Мать Мишеля скончалась в двадцать два года и была милой спокойной барышней. Отцу – Юрию Петровичу, майору в отставке – было отказано в общении с сыном и предложено отправиться в свое имение в Кропотово близ Тулы. Нрава Юрий Петрович был спокойного, но сказало ли это на сыне. В какой-то степени о своем нынешнем характере Лермонтов говорит как бы от имени Печорина, когда тот откровенно беседует с симпатичным ему штабс-капитаном Максимом Максимовичем. Не вдаваясь в философские рассуждения, Печорин объясняет свою вспыльчивость и нервозность буквально двумя словами: «У меня несчастный характер:

воспитание ли сделало таким, бог ли так меня создал, не знаю; знаю только то, что если я причиною несчастья других, то и сам их не менее несчастлив». Может быть, снисходительность бабушки сделала внука таким беспокойным.

Но доброта и сердечное внимание никому не испортили характер: скорее прав был его Печорин. Бог дал Лермонтову редкий талант. Именно талант формировал сложный, необъяснимый характер. Рифмовать Лермонтов начал с детских лет. Серьезно и постоянно – с четырнадцати. Первые стихи, которые он решил опубликовать, относятся к 1828 году, когда он начал учиться в московском пансионе. Среди них «Видение Рафаэля». Четырнадцатилетний Мишель в своем творении сравнивает дар поэта с кистью великого итальянского живописца. В таком юном возрасте осознает свое поэтическое призвание: «Таков поэт: чуть мысль блеснет, как он пером своим прольет всю душу; звуком громкой лиры чарует свет и в тишине поет, забывшись в райском сне». Главное: «Излить всю душу». Не просто душу, а именно всю, без остатка. Лира должна не только звучать, а чаровать, «забывшись в райском сне». Вторую половину своей короткой жизни он целиком отдал творчеству, создав около шестисот стихотворений, несколько пьес и немало страниц так поразившей Чехова прозы. Но это требовало максимальной сосредоточенности, постоянного внимания к себе, оценки впечатлений, размышлений, как это воплотить на бумаге наилучшим впечатляющим образом. Но при этом жить не в известной башне из слоновой кости, а среди людей, самых разных, ему мало интересных, но требующих внимания, общения, откровенности. Это отвлекало, мешало «пролить всю душу», как он писал в стихах; и он замыкался в себе, отдалялся от людей, оставался в одиночестве. Сознал, что он в пустоте, а быть как все талант не позволял. Тема тоски, некоторых предчувствий звучит более чем в 570 стихотворениях Лермонтова. Тридцать восемь можно отнести к лирике светлой, жизнелюбивой, в которой автор выглядит влюбленным в жизнь молодым человеком, а не мрачным мнительным духом изгнания.

Педагог, воспитывая других, меняется сам. То же происходит с деятелями искусства и литературы. Создавая художественные образы, отдавая этому все силы и чувства, художник сам становится их тенью, подчиняясь их характеру, настроению и образу мыслей. Не светское общество, как утверждали некоторые лермонтоведы, ожесточило его характер и привело к печальному одиночеству. Персонажи собственных произведений стали причиной такого превращения, став со временем основным мотивом творчества. В первую очередь это касается

образа Демона, созданию которого Лермонтов посвятил треть своей жизни. Впервые к образу «духа изгнания» он обратился еще пятнадцатилетним подростком, едва переступив детский возраст.

В 1829 году рождается «Элегия» с таким призывом:

*Но для меня весь мир и пуст и скучен,
Любовь невинная не льстит душе моей:
Ищу измен и новых чувствований,
Которые живут хоть колкостью своей
Мне кровь, угасшую от грусти, от страданий,
От преждевременных страстей!..*

А вскоре впервые появляется уже прямое обращение к образу Демона как изложение тезисов к будущей поэме:

*Собрание зол его стихия.
Носясь меж дымных облаков,
Он любит бури роковые,
И пену рек, и шум дубров...
...Он недоверчивость вселяет,
Он презрел чистую любовь,
Он все моленья отвергает,
Он равнодушно видит кровь,
И звук высоких ощущений
Он давит голосом страстей,
И муза кротких вдохновений
Страшится неземных очей.*

Тема одиночества и демонической отрешенности постоянно присутствует в творчестве Лермонтова, но полное выражение получает в поэме «Демон». Над ней он работает почти до последнего дня жизни. Известны девять редакций этой впечатляющей исповеди «одинокоего странника». Так тщательно и долго Лермонтов не трудился ни над одним своим произведением. Но первые строки, как эпиграф к поэме, оставались без изменений: «Печальный Демон, дух изгнания летал над грешною землей...»

Что бы Лермонтов ни сочинял, какие сюжеты ни разрабатывал, а писал он очень интенсивно и о многом, образ Демона его не оставлял, наполняясь все новыми впечатляющими деталями. Менялись композиция и персонажи самой поэмы. Кавказ, куда он был сослан, и Грузия, где побывал, произвели на него огромное впечатление. Это нашло отражение в поэме. Появились сцены из грузинской жизни, картины кавказской природы, покорившей автора поэмы. Соперником Демона вместо прежнего Ангела становится жених Тамары – удалой князь, властитель Синодала. К 1838 году относятся три новых редакции поэмы, шестую Лермонтов собиравал-

ся опубликовать. Разрешение он не получил, но текст разошелся в рукописных копиях в значительном количестве экземпляров. Попали они и в высший свет. Прекрасные дамы поэмой зачитывались, спрашивая при встрече у автора, не похож ли он сам на своего героя, Лермонтов отвечал однозначно, – он еще хуже. Но работа над поэмой продолжалась. Еще в 1841 году, может быть, завершилась, буквально накануне дуэли. Может быть, потому что неизвестно, поставил ли Лермонтов окончательную точку. Поэму он посвятил Вареньке Лопухиной, в которую влюбился еще в Москве, приехав учиться в университет. Он написал ее портрет, изобразив в образе монашки. Скорее всего, из-за того, что в поэме первоначально Демон соблазнял монашку, а не Тамару. К моменту завершения поэмы Варенька уже вышла замуж, но Лермонтов сохранил в поэме посвящение, адресованное ей:

*Я кончил – и в груди невольное сомненье:
Займет ли вновь тебя давно знакомый звук,
Стихов неведомых задумчивое пенье,
Тебя, забывчивый, но незабвенный друг!*

Множество поправок и дополнений Лермонтов привносил в поэму, увеличивая ее красоту, но главные касались образа Демона, ради которого все выстраивалось. Прежде всего совершенствовались, обрастая новым содержанием, его удивительно пылкие и убедительные монологи, обращенные к Тамаре.

На них композитор Антон Рубинштейн построил одноименную, достойную поэмы оперу. Каждый такой монолог – музыкальная ария, перед которой невозможно устоять. Их надо перечитывать не один раз и удивляться их возвышенной гармонией. Вот Демон утешает скорбящую по жениху Тамару:

*Не плачь, дитя! не плачь напрасно!
Твоя слеза на труп безгласный
Живой росой не упадет...
...Он слышит райские напевы...
Что жизни мелочные сны,
И стон и слезы бедной девы
Для гостя райской стороны?*

А дальше – все заманчивее и красивее:
*На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил...
...К тебе я стану прилетать;
Гостить я буду до деницы
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать...*

Изгнав Ангела, Демон появляется перед Тамарой во всем блеске своего демонического вдохновения:

*Я тот, которому внимала ты
в полуночной тишине...
...Я тот, чей взор надежду губит;
Я тот, кого никто не любит...
...Я враг небес, я зло природы,
И, видишь, – я у ног твоих...*

Наконец, его обольстительную клятву, перед которой невозможно устоять, Лермонтов внес в текст уже в 1841 году, она – украшение поэмы, без которой ее трудно представить:

*Клянусь я первым днем творенья,
Клянусь его последним днем,
Клянусь позором преступленья
И вечной правды торжеством.
Клянусь паденья горькой мукой,
Победы краткою мечтой;
Клянусь свиданием с тобой
И вновь грозящею разлукой...
...Клянусь твоим последним взглядом,
Твою первую слезой...
...О! Верь мне: я один поныне
Тебя постиг и оценил,
Избрав тебя моей святыней,
И власть у ног твоих сложил...
...Тебя я вольный сын эфира
Возьму в надзвездные края,
И будешь ты царицей мира,
Подруга первая моя...
...Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное
– люби меня!*

В этой демонической клятве сто строк, но, судя по дате создания, они рождались не один год. И по случайному совпадению или трагическому стечению обстоятельств оказались последними в жизни автора.

VI

Все для меня в тебе святое

Мало кто, как Лермонтов, обличал пороки светского общества с такой дерзкой открытостью, злостью. Но прежде всего он оставался лирическим поэтом, где выражал самые

нежные, искренние чувства к прекрасным дамам, без намека на грубость и неуважение. Он был влюбчив и чувствителен к их прелестям, посвящая им признательные и возвышенные стихи. Никто из милых ему женщин не остался без поэтической признательности. Все это неожиданно, искренне и талантливо.

Такие строки посвятил Екатерине Сушковой: «Расстались мы, но твой портрет на груди своей храню». Несколько стихотворений известной певице Барташевой, с которой Лермонтов познакомился еще в Москве и постоянно встречался в Петербурге в салоне Карамзиных:

*Как небеса твой взор блистает
Эмалью голубой,
Как поцелуй звучит и тает
Твой голос молодой.*

Вдохновенный стихотворный портрет поэт посвятил Марии Щербатовой, о которой говорил: «Такая, что ни в сказке сказать, ни пером описать». Его стихи соответствовали такой оценке: каждое четверостишие этого восторженного объяснения впечатляет и вдохновляет:

*Как ночи Украины,
В мерцании звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных,
Прозрачны и сини,
Как небо тех стран, ее глазки,
Как ветер пустыни,
И нежат и жгут ее ласки.
И зреющей сливы
Румянец на щечках пушистых
И солнца отливы
Играют в кудрях золотистых...
... От дерзкого взора
В ней страсти не вспыхнут пожаром,
Полюбит не скоро,
Зато не разлюбит уж даром.*

Высказывается предположение, что одно из самых поэтических посвящений Лермонтова «Отчего» тоже относится к Марии Щербатовой:

*Мне грустно, потому что я тебя люблю,
И знаю: молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье.
За каждый светлый день иль сладкое мгновенье
Слезами и тоской заплатишь ты судьбе.
Мне грустно... потому что весело тебе.*

Могли ли подобные строки не тронуть женского сердца и увлечь своей поэтичностью. Так страстно была увлечена поэзией Лермонтова великосветская красавица Мария Соломирская. Ей он тоже адресовал стихи, связанные с ее участием в его судьбе после...

Это стихотворение появилось летом 1841 года, буквально накануне роковой дуэли.

*Нет, не тебя так пылко я люблю,
Не для меня красы твоей блистанье:
Люблю в тебе я прошлое страданье
И молодость погибшую мою.
Когда порой я на тебя смотрю,
В твои глаза вникая долгим взором:
Таинственным я занят разговором,
Но не с тобой я сердцем говорю.*

С первых дней своей поэтической биографии Лермонтов преклонялся перед своими избранницами, объясняясь в нежных и чистых чувствах. Шестнадцатилетним юношей он умел красиво и возвышенно говорить о своей любви. Одним из первых таких признаний удостоилась Екатерина Сушкова, «черноокая», как называл ее очарованный Мишель. «Вблизи тебя до этих пор я не слышал в груди... Встречал ли твой прелестный взор – не билось сердце у меня...» К Сушковой юный Лермонтов обращался в стихах еще не раз, в том числе с известной своей оригинальной формой объяснения «Благодарю», где каждый куплет завершается этим восклицанием:

*Благодарю!.. Вчера мое признание
И стих мой ты без смеха приняла;
Хоть ты страстей моих не поняла,
Но за твое притворное вниманье
Благодарю!*

Екатерине Сушковой Лермонтов посвятил девять стихотворений, написав первое «Весна» еще в 1830 году, когда, по ее словам, познакомился с ней. Однако бесспорно для нее написаны в 1831 году строки: «Я не люблю тебя; ...Но образ твой в душе моей все жив, хотя бессилен он...»

После романа с Сушковой было немало увлечений, но милая Катенька не потерялась среди них. Через шесть лет его беспокойной мятежной жизни он помнил о ней, сказав об этом в стихах, переработав прежнее признание:

*Расстались мы, но твой портрет
Я на груди своей храню:
Как бледный призрак лучших лет,
Он душу радует мою.*

*И, новым преданный страстям,
Я разлюбить его не мог:
Так храм оставленный – всё храм,
Кумир поверженный – всё бог!*

Не осталась без внимания другая светская львица – Александра Смирнова, в девичестве Россет, дружившая с Пушкиным, Жуковским, Гоголем и симпатизирующая творчеству Лермонтова и ему лично. Как-то между ними случилась размолвка из-за отсутствия ее отклика на его последние стихи. Свою якобы обиду он выразил известным поэтическим признанием:

*Без вас хочу сказать вам много,
При вас я слушать вас хочу;
Но молча вы глядите строго,
И я в смущении молчу.
Что ж делать?.. Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано...
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно..*

С удовольствием удостоил стихами симпатичную ему двадцатитрехлетнюю графиню, опять же светскую красавицу Воронцову-Дашкову, откликнувшись на появление ее портрета кисти известного французского художника Греведона:

*Ей нравиться долго нельзя:
Как цепь, ей несносна привычка,
Она ускользнет, как змея,
Порхнет и умчится, как птичка...*

*... То истиной дышит в ней все,
То все в ней притворно и ложно!
Понять невозможно ее,
Зато не любить невозможно.*

Такие строки были написаны Лермонтовым коллеге по перу, известной поэтессе графине Евдокии Петровне Растопчиной: «Я верю, под одной звездой мы с вами были рождены».

Пылкие чувства к Сушковой очень скоро вытеснила другая красавица, дочь московского поэта, драматурга Федора Иванова, Наталья, которая буквально вскружила голову влюбчивому Мишелю. Она возглавила список удостоенных Лермонтовым стихотворных признаний. Их было написано свыше тридцати. Не каких-то безликих, стандартных признаний, объяснений, а прочувственных, искренних, образных строф, многие из которых о собственных любовных сомнениях и разочарованиях. Видимо, Наталья Иванова не сразу

откликнулась на восторженный порыв юного поэта. О чем говорят адресованные ей стихи:

*Мои неясные мечты
Я выразить хотел стихами,
Чтобы, прочтя сии листы,
Меня бы примирила ты
С людьми и с буйными страстями;*

*Но взор спокойный, чистый твой
В меня вперился изумленный.
Ты покачала головой,
Сказав, что болен разум мой,
Желаньем вздорным ослепленный...*

*... Но пылкий, но суровый нрав
Меня грызет от колыбели...
И в жизни зло лишь испытал,
Умру я, сердцем не познав
Печальных дум печальной цели.*

Отношения с Ивановой складывались непросто, но это выражалось в новых стихах. Даже само название – «Ночь», говорило о сердечных проблемах:

*Я в силах перенести мученье
Глубоких дум, сердечных ран,
Все, – только не ее обман.*

Об этом же строки под грифом «К...».

*Не ты, но судьба виновата была,
Что скоро ты мне изменила,
Она тебе прелести женщин дала,
Но женское сердце вложила.*

Лермонтов находит все новые оттенки своих переживаний, высказывая их поэтическим языком:

*Но если ты при мне смеялась надо мною,
Тогда как внутренно полна была тоскою,
То мрачный мой тебе пускай покажет взгляд,
Кто более страдал, кто боле виноват!*

Автору этих строк всего семнадцать лет, но как глубоко он себя осознает. Может быть, он еще юношески наивен, но как откровенен и искренен:

*И в день печали роковой
Твой взор, умеющий язвить,
Воображу перед собой
И стану речь твою твердить.*

*И вновь мечтанье сблизит нас,
И вспомню, вспомню я тогда,
Как встретились мы в первый раз
И как расстались навсегда.*

В «Стансах» влюбленный Мишель представляет себя в бою, где хочет видеть смерть, много крови, «чтоб залить огонь в груди моей».

Даже в одном из самых значимых философских стихотворений московской юности «1831-го июня 11 дня» в пятой строфе он вновь обращается к бесценной для него Наталье:

*Со мною не умрешь: моя любовь
Тебя отдаст бессмертной жизни вновь;
С моим названьем станут повторять
Твое: на что им мертвых разлучать?*

Два года Наталья Иванова занимала если не всю, то значительную часть поэтической души поэта. Тогда она была его главной музой. Это для нее написал он такие чистые, бескорыстные строки:

*Всевышний... знает, и ему лишь можно знать,
Как нежно, пламенно любил я,
Как безответно все, что мог отдать,
Тебе на жертву приносил я...*

*... Ты изменила – бог с тобою!
О нет! я б не решился проклянуть!
Все для меня в тебе святое:
Волшебные глаза и эта грудь,
Где бьется сердце молодое...*

*... Будь счастлива несчастьем моим
И, услышав, что я страдаю,
Ты не томись раскаяньем пустым.
Прости! – вот все, что я желаю...*

Чувство к Ивановой не оставляло Мишеля и после разрыва с ней. Он был верен этому чувству не один год, находя в нем все новые впечатления для стихов. Посвятив ей первые стихотворные строки в 1830 году: «Мои неясные мечты я выразить хотел стихами...», Лермонтов вернулся к дорогим ему воспоминаниям в год дуэли, то есть через одиннадцать лет, почти половины своей такой короткой жизни. Как бы предчувствуя неизбежное, приехав ненадолго из ссылки в Петербург, он написал печальные строки:

*И будет спать в земле безгласно
То сердце, где кипела кровь,
Где так безумно, так напрасно
С враждой боролась любовь,*

*Когда пред общим приговором
Ты смолкнешь, голову склоня,
И будет для тебя позором
Любовь безгрешная твоя...*

*... Но пред судом толпы лукавой
Скажи, что судит нас Иной,
И что прощать святое право
Страданьем куплено тобой.*

Однолюбом Лермонтов, бесспорно, не был, увлекался постоянно, но с поэтическим уклоном. Это в творчестве не ново, но важен творческий итог. Но сложные, печальные отношения с Натальей Ивановой говорят о душевности Мишеля Лермонтова, способного не только увлекаться, но и любить духовно, болезненно и безнадежно.

До конца дней он испытывал поэтические чувства к Вареньке Лопухиной, младшей сестре Марии Лопухиной. Мы упомянули многих для Лермонтова обворожительных поклонниц, которых он удостоил своим поэтическим вниманием. Всего же, с небольшой арифметической погрешностью, всего за десять-одиннадцать лет творчества Лермонтов затронул тему женского очарования и своего отношения к ним более чем в девяноста стихотворных шедеврах – убедительных, талантливых и безупречно уважительных, без малейшего намека на женское коварство и непостоянство. Даже Наталью Иванову, из-за которой претерпел столько огорчений, вплоть до измены, благодарил за испытанное страдание и не желал никаких огорчений. Какая может быть неприязнь, если горячие переживания из-за неверной Натальи вдохновляют на поэтические шедевры:

*Я не унижусь пред тобою;
Ни твой привет, ни твой укор
Не властны над моей душой.
Знай: мы чужие с этих пор.
Ты позабыла: я свободы
Для заблужденья не отдам;
И так пожертвовал я годы
Твоей улыбке и глазам,
И так я слишком долго видел
В тебе надежду юных дней
И целый мир возненавидел,
Чтобы тебя любить сильней.*

Пожалуй, только в этом удивительно убедительном обращении к любимой Лермонтов позволяет себе резкость и возмущение:

*Начну обманывать безбожно,
Чтоб не любить, как я любил;*

*Иль женщин уважать возможно,
Когда мне ангел изменил?..
... Не зная коварную измену,
Тебе я душу отдавал;
Такой души ты знала ль цену?
Ты знала – я тебя не знал!*

Женщины, кроме Н.И., у Лермонтова бездушные ангелы, жертвы Печориных и ему подобных.

Влюбляясь, Лермонтов мог сказать о каждой, как о Наталье Ивановой в начале их романа:

*О небо, я клянусь, она была
Прекрасна!.. я горел, я трепетал,
Когда кудрей, сбегающих с чела,
Шелк золотой рукой своей встречал,
Я был готов упасть к ногам её,
Отдать ей волю, жизнь, и рай, и все,
Чтоб получить один, один лишь взгляд
Из тех, которых все блаженство – яд!*

Но лишь однажды после ее свидания с другим Лермонтов позволил себе циничное высказывание о женщинах и отношении к ним:

*Она притворство хитрости не знала
И в этом лишь другим не подражала!
Не всё ль равно? – любить не ставит в грех
Та одного – та многих – эта всех!*

*Я с женщиною делаю условье
Пред тем, чтобы насытить страсть мою:
Всего важней, во-первых, мне здоровье,
А во-вторых, я мешкать не люблю...*

Но в творчестве его кумиром оставался Пушкин, хотя об этом он никогда нигде не писал, если не считать оды «Смерть поэта», где им сказано многое, кому он посвятил еще в 1830 году, хотя об этом не любил говорить. Но следил за его творчеством пристально, ответив на его трагическую смерть обличительными стихами «Смерть поэта». Это был не единственный отклик на его творческую судьбу. Еще в 1830 году шестнадцатилетний Мишель, восхищаясь вольнолюбивой лирикой Пушкина, в стихах призвал того сохранять верность взглядам молодости: «... Ты видел зло и перед злом ты не поник».

Влияние Пушкина было очень значительно на Лермонтова, особенно в юности. Он не мог не знать и не восхищаться стихами «К ...», «Я помню чудное мгновенье». Они настолько его впечатлили, что ритм последних строк:

*И сердце бьется в упоеньи,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь*

он повторил в 1830 году в стихотворении без названия: «Одни среди людского шума» в его заключительных строчках:

*... Я вспомнил прежние несчастья,
Но не найду в душе моей
Ни честолюбья, ни участья,
Ни слез, ни пламенных страстей.*

Он оставался целомудрен и возвышен в своих лирических стихах. Был верен этой традиции, преклоняясь перед «Гением чистой красоты», создавая поэтические портреты впечатливших его красавиц. Они могли быть ироничны, шутивы, забавны, но никогда не циничны, обидны, коварны.

VII

Я вам пишу, чего же боле...

Романтическая поэтичность любовной лирики Лермонтова не вызывает никаких сомнений в его рыцарском отношении к прекрасным дамам, которое он выражал достойными их стихами. Но стихи результат творческой фантазии, которая даже самое красивое делает еще прекрасней. Такой подход невозможен в письмах, где все называется своими именами, естественно, если письма правдивы и касаются не только текущих событий, но и волнующих проблем. К счастью, несмотря на сложные для России времена, сохранилось пятьдесят два письма Лермонтова, в основном друзьям и близким. Тридцать из них – женщинам. Семь – дорогой бабушке Елизавете Васильевне Арсеньевой, четыре – племяннице бабушки Марии Акимовне Шан-Гирав с рассказами о московской жизни и учебе. По одному – трем дамам в Петербург, два из которых не представляют интереса, а одно, достаточно подробное, Софье Карамзиной, дочери историка Н. Карамзина, хозяйке петербургского литературного салона, высоко ценившей талант Лермонтова. В этом письме он как бы ставит точку в их споре о романтическом и реалистическом в поэзии. Лермонтов, с юности увлеченный романтизмом, остался верен ему много лет, написав не одну сотню красивых строк. Отношение к ним разное. Поэтому любопытно отношение самого автора к своим юношеским фантазиям:

*Любил и я в былые годы,
В невинности души моей,
И бури шумные природы,
И бури тайные страстей.*

*Но красоты их безобразной
Я скоро таинство постиг,
И мне наскучил их несвязный
И оглушающий язык.*

Время ли этому причина, возмужание поэта или резкая перемена образа жизни, когда он перерос «несвязный оглушающий язык» своей поэзии и не стал выдавать себя за умудренного невзгодами человека и заговорил своим, совершенно другим, возмужавшим голосом.

Три других женских адресата занимают особое место в жизни Лермонтова: Софья Александровна Бахметьева, Александра Михайловна Верещагина и Мария Александровна Лопухина. С двумя первыми Мишель был знаком с детства в Тарханах, а с Лопухиной встретился, приехав на учебу в Москву. Надо отметить одну общую особенность. Все эти дамы были старше Мишеля. Если Сашенька Верещагина лишь на четыре года, что в подростковом возрасте тоже немало, то Лопухина – на двенадцать, а Бахметьева – на четырнадцать лет. Казалось бы, что могло быть общего между ними при такой разнице в возрасте. Здесь особый случай. Все было вопреки традиционным правилам. Лермонтов не был обычным подростком, а юношей с пылким воображением, выражавшим себя в стихах. Писать их начал очень рано, и особенно оказавшись в Москве четырнадцатилетним подростком. Если в первый год учебы он написал четыре стихотворения, достойных внимания друзей, то год спустя сочинил уже сорок, а еще через год – сто. Такое творческое горение требовало максимальной сосредоточенности, внимания к своим впечатлениям и подбору рифм. Он был бесспорно старше своего возраста, глубже, самостоятельней в мыслях, рассуждениях, да к тому же не по годам начитан и образован. Он был не просто забавен своей непосредственностью, а действительно интересен своим более старшим дамам. Кроме того, хорошо известно, что подросткам свойственно испытывать нежные чувства к таким особам. Эдипов комплекс – явление распространенное.

Все эти женщины были для Мишеля красавицами, умницами, лучше которых не бывает. Они любили, как и он, хорошие книги, театр, музыку, творчество Пушкина. Для них Мишель был тоже интересен стихами в стиле юного Байрона, не по возрасту зрелым пониманием жизни, искусства, литературы и, конечно, удивительно искрен-

ностью своих рассуждений и открытостью отношений с окружающими. По мнению знатоков жизни и творчества Лермонтова, более близких и верных друзей у него не имелось. Среди женщин – бесспорно. Но и мужская дружба была ему знакома. Теплые доверительные отношения сложились еще со времен жизни в Тарханах и учебы в московском пансионате со Святославом Раевским, который в Петербурге распространял его стихи «Смерть поэта», младшим братом Марии Лопухиной Алексеем, однокашником по университету Николаем Поливановым. Это были сердечные, близкие отношения, но с оттенком мужской сдержанности, которая не имела места при контактах с милой Мишелью троицей. Переросла ли она когда-либо во что-то более интимное, перерастая грань душевной дружбы. В письмах таких признаний не имеется.

Доверительность отношений между Марией Александровной и Лермонтовым была глубже, чем, пожалуй, у сына с матерью. Познакомились они, когда Мишель было всего четырнадцать лет. В Москве они жили окно в окно на Большой Молчановке. Оставшись без опеки бабушки, Мишель стал частым, желанным гостем в дружном семействе Лопухиных. Мария, при их разнице в возрасте, стала ему за старшую сестру. Видя его открытый, несдержанный характер, старалась научить, как лучше себя сохранить, особенно когда стал военным, попав в армейскую среду. Она настойчиво ему внушала: «Если вы продолжите писать, не делайте этого никогда в училище и ничего не показывайте вашим товарищам, потому что иногда самая невинная вещь причиняет нам гибель. Остерегайтесь слишком близко сходить с товарищами, сначала хорошо их узнайте».

Этот важный при его открытом характере совет Мишель хорошо усвоил. Против желания оказавшись в казарме, он находил спасение от одиночества, отправляя письма своим добрым милым наставницам. Делится с ними наболевшим, отправляет новые стихи. К Софье Бахметьевой обращается как в Тарханах: «Ваше Атмосфераторство!... Одну добрую вещь скажу вам. Я догадался, что не гожусь для общества. Был в одном доме, где просидел 2 часа, я не сказал ни одного путного слова; у меня нет ключа от их умов – быть может, слава богу!» «Одна вещь меня беспокоит: я совсем почти лишился сна; нет, я не знаю: тайное сознание, что я кончу жизнь ничтожным человеком, меня мучит... Каждый миг у меня новые фантазии». К письму стихи: «Увы! Как скучен этот город, своим туманом и водой!..»

Больше всего писем дорогой Марии Александровне – семь. Первая петербургская осень заполнена перепиской: 28 августа, 2 сентября, 15 октября... «Я намерен засыпать вас своими письмами и стихами. Это, конечно, не по-дружески и даже не гуманно, но каждый должен следовать своему предназначению. Знаете ли, любезный друг, как я стану писать к вам? Понемногу. Иной раз письмо продлится несколько дней, придет ли мне в голову какая мысль, я запишу ее; займет ли мой ум что-то примечательное, тотчас поделюсь с вами. Довольны ли вы этим?»

Ни малейшего опасения показаться смешным, наивным, неумным, скучным. «Бог знает, будет ли существовать мое я после жизни! Страшно подумать, что настанет день, когда не сможешь сказать: я! При этой мысли мир не что иное, как ком грязи». Наивные рассуждения философствующего мальчика. А этому мальчику уже лет восемнадцать, и он уже автор почти трехсот стихов, среди которых и знаменитый «Парус», отправленный тем же письмом, что и детские рассуждения о комке грязи.

«Парус» представлен кратко: «Вот стихи, которые я сочинил на берегу моря». А это всего лишь 1832 год, когда имя Лермонтова как поэта известно небольшому кругу друзей и, конечно, трем дорогим ему дамам. Пройдет лишь несколько лет, и эти лаконичные, словно прозрачные строчки станут символом либеральной интеллигенции России. Первой их прочтет Мария Лопухина: «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом...» «Парус» – первая ласточка будущей реалистической поэзии Лермонтова, намного опередивший появления других, подобных стихов, отправленных все той же Марии Александровне. «Оно мне довольно нравится», – писал он своему «любезному другу» в Москву. Стихотворение было дорого поэту и явилось результатом гонений власти за его разоблачительные стихи «Смерть поэта», аресту и высылке из столицы. Его направили на Кавказ под пули чеченцев, а затем в провинциальный Новгород в гусарский полк. Свое безрадостное настроение он превратил в печальные, но глубоко поэтические строки, которые мог доверить только близкому, родному человеку, понимающему его чувства. Строки эти, как никакие другие, раскрывают душевные качества добрейшего и ранимого поэта.

*Не за свою молю душу пустынную,
За душу странника в свете безродного;
Но я вручить хочу деву невинную
Теплой заступнице мира холодного,*

Здесь каждая строка говорит об одиночестве автора и надежде, что его поддержат и поймут. Он исповедовался перед Лопухиной и прозой, и в стихах, не опасаясь непонимания или насмешек. В стихах его признания выглядели даже доверительнее и нежнее.

Но ревность, как видно из письма, имела место, причем ревность открытая, нескрываемая от предмета ревности. Не просто заметная и высказанная эмоционально, раскрывающая бесспорную влюбленность ревнивца к особе, удостоенной такой чести. Разве не об этом говорят строки из письма покинувшего Москву Мишеля осенью 1831 года: «Что касается вашего брака, любезный друг, то вы угадали мой восторг при вести, что он расстроился; я уже писал кузине, что этот вздернутый нос годится разве на то, чтобы вынюхивать дичь, – это... мне самому очень нравилось. Слава богу, что это кончилось так, а не иначе». Такое признание позволяет предположить, что и в Москве 16-18-летний Мишель не скрывал своей влюбленности в Марию, а она при этом не отдала его от себя, хотя, как видим, собиралась замуж. Прошел лишь год разлуки Марии и Мишеля, он обращается к ней фразой, которую трудно понимать двояко: «Может быть, через год я навещу вас. Какие перемены найду? Узнаете ли вы меня и захотите ли узнать? И какую роль буду играть? Приятно ли будет это свидание для вас или оно смутит нас обоих?» Что значат эти вопросы? О каких переменах речь, если они переписывались регулярно. За год невозможно перемениться внешне до неузнаваемости. Значит, разговор идет о переменах в отношениях. Останутся ли они такими, как прежде? О каком смущении может идти речь, если они складывались только из, пусть откровенных, разговоров. Как еще понимать разговор, если не о женской верности. А как понимать описание предстоящей через год офицерской жизни с шампанским и шалостями всякого рода, как не желанием вызвать ревность, чтоб сохранить их прежние отношения. Даже вопросы о ее жизни в деревне связаны с беспокойством о ее времяпрепровождении: много ли соседей, любезны ли они, забавны ли? Лермонтов утверждает, что в этих вопросах нет никакого умысла, но он заметен невооруженным глазом. С кем проводит время, нет ли бойких ухажеров, не увлеклась ли кем-то? Вероятно, можно представить, что не мужская ревность, а желание ребенка не делить ни с кем внимание матери.

В любом случае, великий в творчестве Лермонтов в свои молодые годы оставался в душе незнакомым с жизнью ребенком, добрым, капризным и

одиноким. Поэтому нежные доверительные отношения с Марией Лопухиной были для него дороги и необходимы. Ей и только ей он мог доверить то, что держал в тайне от других, следуя ее же наставлениям. Никто кроме нее не слышал от Лермонтова таких сердечных откровений: «Мне кажется, что если бы я не сообщил вам о чем-нибудь важном, что со мной случилось, то наполовину бы пропала моя решимость. Верьте не верьте, а это так; не знаю почему, но, получив от вас письмо, я не могу удержаться, чтоб не ответить тотчас же, как будто с вами разговариваю».

В год поступления в юнкерскую школу он, как уже говорилось, особенно нуждался в сочувствии и общении с теми, кто был ему дорог и без сомнений доверял. Не опасался выглядеть беспомощным, обращаясь к Марии, признавался: «...Теперь я более, чем когда-либо, буду нуждаться в ваших письмах; они доставляют мне величайшую радость в моем заточении... Возьмите на себя этот скучный, но милосердный подвиг, и вы спасете мне жизнь. Вам одной я могу говорить все, что думаю, и хорошее, и дурное; я уже доказал это своей исповедью, и вы не должны отставать, не должны, потому что я прошу вас не любезности, а благодеяния. Я жил, я созрел слишком рано, и будущее не принесет мне новых впечатлений». Тут же стихотворные строчки, созвучные его настроению:

*Он был рожден для счастья, для надежд
И вдохновений мирных! – но безумный
Из детских рано вырвался оджд
И сердце бросил в море жизни шумной;
И мир не пощадил – и бог не спал!
Так сочный плод до времени созревший
Между цветов висит осиротелый,
Ни вкуса он не радует, ни глаз;
И час их красоты – его паденья час!*

Многие свои письма Лермонтов называет исповедью и рассказывает о своей новой армейской жизни с ее вольницей и гусарством, но при этом не опасаясь показаться слабым и беспомощным, что для мужчины обычно нежелательно, признается, что его будущее блистательное на вид.

И где порука, что ему удастся сберечь в себе хоть частицу пламенной, молодой души, которой бог одарил его некстати, что его воля истощится от выжидания счастливого случая, что он разочаруется окончательно во всем, что заставляет двигаться по жизни вперед. Замечает, что хотя характер его несколько изменился, но сердце оста-

лось то же. Делится своими успехами у женщин, объясняется в любви, тут же говорит им дерзости. У него, наконец, появляется смелость в отношениях с ними. Ничто его не смущает – ни гнев, ни нежность; он всегда настойчив и горяч, но сердце его холодно и может забиться только в исключительных случаях. «Не правда ли, я далеко пошел? И не думайте, что это хвастовство: я теперь человек самый скромный и при том знаю, что этим ничего не выиграю в ваших глазах. Я говорю так, потому что только с вами решаюсь быть искренним; потому что только вы одна меня пожалеете, не унижая, так как и без того я сам себя унижаю. Если бы я не знал вашего великодушия и вашего здравого смысла, то не сказал бы того, что сказал... Может быть, вы пожалеете ласковыми словами разогнать холодную иронию, которая неудержимо прокрадывается в мою душу, как вода просачивается в разбитое судно! О, как бы желал я опять вас увидеть, говорить с вами: мне благодарны были бы самые звуки ваших слов... Возле вас я бы нашел самого себя, стал бы опять каким был, доверчивым, полным любви и преданности, одаренным наконец всеми благами, которые люди не могут у нас отнять и которые отнял у меня сам бог. Прощайте, прощайте, хотел бы еще написать, но не могу». Не прибегая к пафосным утверждениям, хочется еще раз повторить, что делает это и сам Лермонтов, говоря о своем пребывании в юнкерской школе. Для большинства курсантов в этом не было ничего плохого, отталкивающего, невыносимого. Военный мундир им приходился впору. Лермонтова он душил, угнетал, отвлекая от творчества и ломая привычный, дорогой ему уклад жизни. Исповедуясь перед «любезным другом», называет два года юнкерской муштры – страшными. Но только ей он доверялся без малейшей утайки, делясь самым важным для себя и сокровенным.

Шли годы, Лермонтов мужал, приобрел литературную известность, стал желанным автором популярных журналов «Современник», «Отечественные записки», был на дружеской ноге с редактором Краевским, позволяя шалости в его кабинете.

Чувство привязанности к Марии Лопухиной не растеряно. Сосланный на Кавказ под чеченские пули, пишет ей душевные письма, рассказывая о своих делах, жалуется на скуку, хотя в то время ежедневно пишет, создавая такие шедевры, как «Молитва», «Казачья колыбель», «Дума». Начинает работу над «Героем нашего времени», но просит ее не забывать его, писать хотя бы немножко. «Пожертвуйте собой, пишите мне всегда, не будьте церемонны: вы должны быть выше этого».

Именно в это письмо вложены стихи «Молитва странника» – поэтическая исповедь, превосходящая по настроению любую прозаическую «Я Мать Божия, ныне с молитвой». Марии и юной Вареньке отправляет из Пятигорска, едва туда приехав как ссыльный, шесть пар черкесских туфелек, которые купил «как только отыскал». Просит сообщить, подошли ли туфельки. Вот такой вот Лермонтов – для многих дуэлянт и скандалист.

Его откровенность и искренность с годами не делаются дипломатичней, сдержанней. Для Марии он так же открыт и непосредствен как ребенок. Возвращенный из ссылки в столицу, тут же делится с нею впечатлениями, сопровождая их ребячьими пояснениями. Во-первых, он не без удовольствия сообщает, что ежедневно ездит на балы, пустился, по его словам, в «большой свет». Во-вторых, в течение месяца на него была мода, его буквально рвали друг у друга: «Все эти люди, которых он поносил в своих стихах, стараются осыпать его лестью. Самые хорошенькие женщины выпрашивают у него стихи и хвастаются ими как триумфом. Тем не менее он скучает. Просился на Кавказ – отказали, не хотят, чтоб его убили. Извиняясь за такую откровенность, не может скрыть и умолчать, что когда-то, как новичок, он желал доступа в это общество, а теперь ему это удалось. Он возбуждает любопытство, перед ним заискивают, его всюду приглашают, а он и вида не подает, что хочет этого. Дамы, желающие, чтобы в их салонах собирались замечательные люди, хотят, чтобы он бывал у них, потому что он тоже «лев».

Вот дальнейшие насмешливые, доверительные строки из этого письма: «Да, я, ваш Мишель, добрый малый, у которого вы и не подозреваете гривы. Согласитесь, что все это может опьянить, но мало-помалу я начинаю находить все это несносным. Но приобретенный опыт полезен в том отношении, что дал мне оружие против общества, если оно будет преследовать меня клеветой (а это непременно случится), у меня хоть будет средство отомстить; нигде ведь нет столько подлости и столько смешного, как там. Я уверен, что вы никому не передадите моего хвастовства; иначе сочтут, что я еще смешнее других; с вами же я говорю как со своей совестью, а потом, так приятно посмеяться над тем, что так добиваются и чему так завидуют дураки – с человеком, который заведомо всегда готов разделить ваши чувства. Я имею в виду вас, любезный мой друг».

Видимо, от Лопухиной какое-то время не приходило писем, и Лермонтова беспокоило и тревожило молчание «любезного друга», ставшего

частью его самого. Поэтому свое письмо он заканчивает по-детски трогательно: «Вы мне напишете, правда? Ведь вы не писали мне по какой-нибудь важной причине? Не больны ли вы? Не болели ли кто в семье? Боюсь, что так. Мне говорили что-то в этом роде. На следующей неделе жду вашего ответа и надеюсь, что он будет не короче моего письма и, уж наверное, лучше написан. Боюсь, что не разберете моего маранья. Прощайте, мой милый друг; может быть, если богу угодно будет вознаградить меня, я получу полугодовой отпуск и тогда во всяком случае получу ответ, каков бы он ни был! Поклонитесь от меня всем, кто меня не забыл». Письмо отправлено из Петербурга в конце 1838 года. До роковой дуэли с Мартыновым – два с половиной года. Срок не малый. Но больше писем Марии Лопухиной Лермонтов не отправлял, хотя она оставалась в добром здравии и дожила до 1877 года. Очевидно, ответа на свое трогательное искреннее письмо он так и не дождался, прекратив переписку. Но слишком доверительными и сердечными были их отношения, чтобы это послужило причиной размолвки.

Была она, вероятно, достаточно серьезной, но не по инициативе Лермонтова при его глубокой привязанности к Марии Александровне. Никаких объяснений этому с его стороны нет. Но о полном разрыве отношений между ними говорят убедительные факты. Лермонтов сохранял дружеские контакты с братом Марии Александровны Алексеем. Отправил ему несколько писем уже после

размолвки с Марией. Писем теплых, неформальных. Написал и отправил стихи новорожденному наследнику Алексея:

*Ребенка милого рожденье
Приветствует мой запоздалый стих.
Да будет с ним благословенье
Всех ангелов небесных и земных!*

Прибавив, что стихи от полного сердца и он так рад рождению малыша, что начнет сочинять для него новые. Но при этом ни слова о «любезном и добром друге», как, впрочем, и в остальных трех письмах – ни вопросов, ни приветов. Бывая проездом из Петербурга в Москву, ни ногой на Большую Молчановку в дом Лопухиных, где провел столько теплых, незабываемых вечеров. Добрый, ласковый Мишель мог быть гордым и твердым, но только чего ему это стоило. Может быть, разрыв с Лопухиной толкал его на рискованные поступки. Обе дуэли – с Морисом Барантом и Мартыновым – произошли после их размолвки. Но и лучшие и самые проникновенные стихи появились тоже тогда, когда он остался в одиночестве, без ее сочувствия, понимания и советов.

Октябрь 2017 г. – январь 2018 г.



Григорий ФУКС –

член Союза писателей Санкт-Петербурга.

Родился в Одессе, школу окончил в Ленинграде,

педагогический институт в Петрозаводске.

Преподавал историю и литературу в школе.

*Педагог, воспитатель, тренер
и международный арбитр по настольному теннису.*

Работал журналистом в Астрахани и Карелии.

Автор сценариев для Центрального телевидения,

восьми книг и нескольких пьес.

С 1995 г. живёт в Лос-Анджелесе.

